



ИВАН ЖДАНОВ

ВОЗДУХ И ВЕТЕР

СОЧИНЕНИЯ И ФОТОГРАФИИ

Иван Николаевич Жданов
Воздух и ветер.
Сочинения и фотографии

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=27051117

Воздух и ветер Сочинения и фотографии:

ISBN 978-5-91627-183-6

Аннотация

Собрание стихотворений и эссеистики лауреата литературных премий им. Аполлона Григорьева, им. Андрея Белого и др. Стихи Ивана Жданова переведены на многие иностранные языки и включены почти во все современные антологии русской поэзии, выпущенные как в России, так и за рубежом. Эссеистика впервые представлена в одной книге.

Издание второе.

Содержание

Следи за мной, мой первый снег	8
«Следи за мной, мой первый снег...»	8
«Соломенную кладку полусвета...»	9
«Я не ветка, я только предветвие...»	10
«Бог Аполлон живую кожу...»	11
«Когда умирает птица...»	12
«Смех подошел ко мне вплотную...»	13
«Когда покой – лишь прошлого значенье...»	14
«Там, где снег, от беспамятства черный...»	16
Поэма дождя	17
Стол	19
«Хотелось вынести из света...»	20
«Стоишь одна у входа в этот лес...»	21
проза	23
Пришел поэт и рассказал	23
Внутри деревьев падает листва	31
Взгляд	31
Крещение	33
Баллада	35
«Во дворе играют в домино...»	37
Контрапункт	38
Плач Иуды	40
«Дождя отвесная река...»	42

«Мелкий дождь идет на нет...»	43
«Душа проснется, и тогда...»	44
«Такую ночь не выбирают –...»	46
«По ходу солнца в том краю...»	48
«Замедленное яблоко не спит...»	49
«Так ночь пришла, сближая все вокруг...»	50
проза	53
Мнимые пространства	53
Или смерти коснуться и глаз не закрыть	63
Поезд	63
Гроза	70
Концерт	72
Осень	73
Портрет	74
«Соединенье этих рук равно сближению деревьев...»	76
«Увы, уходят со стекла морозные пейзажи...»	77
«Мороз в конце зимы трясет сухой гербарий...»	79
«Любовь, как мышь летучая, скользит...»	81
«Это всего лишь щепоть пустоты...»	83
Конец ознакомительного фрагмента.	84

Иван Жданов

Воздух и ветер

Сочинения и фотографии



«Жданова читать трудно. Он как будто специально отгораживается от случайного читателя. Его стихи нельзя читать походя, и нужно усилие, чтобы войти в его поэтический мир... Жданов пишет без случайных и проходных слов... Он творит настолько плотную поэтическую среду, что нет времени перевести дух, отдохнуть. Словно стерты интер-

валы между словами, и стихи сливаются в единую словесную ткань».

Николай Александров

«Каждый сегмент мысли [Жданова] претендует на категорическую ясность, но законы смыслового синтаксиса загадочны... Смысловые пробелы, «эллипсы», тем очевиднее, что Жданов не работает «колеблющимися» смыслами слов, а повествует.

В провалах сюжета или описания зияет, не решусь сказать, глубина, но запредельность, превращающая рассказ в притчу, в попытку прозрения и пророчества».

Игорь Шайтанов

«Память здесь помещена в Космос – который как живое неловкое и вместе с тем большое сказочное существо... помнит в Вечности справедливо, по совести, по жалости, – отсюда такая личная интонация, такой щемящий звук, такая акустика – Эхо».

Инна Ростовцева

«И все же при всей своей внешней строгости и мужественности поэзия Жданова – типичный цветок авангардизма, только в стадии бутона.

Психология его авангардизма выражает себя не в архетипе творческого поведения, а в поэтическом образе архетипа, в образе божественного младенца, вольно или невольно утаенного в переплетениях его метафорических ребусов».

Светлана Козлова

«Иван Жданов-фотограф не признается в мастерстве; свою страсть – пейзаж – с отсутствием и человека, и сюжета, делая естественным и личным, сумел запараллелить «ждановскому»: некоторая легкая торжественность, очарование масштабов и ненавязчивости в лироэпическом формате душеспасения, – да, форма и есть и является в томительную одновременность между всё и всегда. А хоть и в цвете, а хоть и без...».

Владимир Сулягин



Следи за мной, мой первый снег 1968

«Следи за мной, мой первый снег...»

Следи за мной, мой первый снег.
Я за тобою послан буду,
когда усталый человек
начнет искать тебя повсюду.

Тот человек не я, и лиц
он не менял еще, но все же
среди него не видно птиц,
и это так на снег похоже.

«Соломенную кладку полусвета...»

Соломенную кладку полусвета
с морозным утром связывает тихо
снег, сохранивший пристальность воды.

Где снега нет, где лед с начинкой окон,
березового сока сонный шорох
разводы оставляет на стекле.

Лед плавает в воде, как деревянный.
Уже не надо слушаться древесных
намёков, многошумных и немых.

Уже не знаешь, как дышать на стекла.
За этим вдохом снег ли будет таять
иль погружаться в воду талый лед.

Все обретает пристальность воды.

«Я не ветка, я только предветвие...»

Я не ветка, я только предветвие.

Я не птица, а имя ее.

Я не ворон, но где-то в предветрии
обсуждает меня воронье.

«Бог Аполлон живую кожу...»

Бог Аполлон живую кожу
задумал с Марсия содрать,
не ход ристалища итожа,
а перед тем, как начинать.

Так ветер фабулы в финале
срывает шкуру с тополей
не для того, чтоб замолчали –
чтоб умолкали веселей.

«Когда умирает птица...»

Когда умирает птица,
в ней плачет усталая пуля,
которая так хотела
всего лишь летать, как птица.

«Смех подошел ко мне вплотную...»

Смех подошел ко мне вплотную,
разбил гортань, заморозил
и душу теплую, живую
в один щелчок опустошил.

И как с костра – за дымом пламя –
и, в пламя пламенем влеком,
он с губ моих пятью перстами
срывал язык за языком.

Спроси у ангела: который
из всех грехов ему – не грех?
Как ивы тихие в озера,
свисали плечи в мертвый смех.

«Когда покой – лишь прошлого значенье...»

Когда покой – лишь прошлого значенье,
зачем он день отвергнутый зовет,
бредя наощупь по уступам эха
к предутренней охапке перспектив?
В чем воплотит он беглый свой рассудок?
Глухое эхо втеплено в молчанье,
оно блестит на устной пиктограмме
изрезанного откликами ветра.

Ему ли знать, чей путь его ведет,
земля ли ищет или небо кличет,
чей это голос вынести не смог
неуловимой тяжести обличья.
Кто был здесь? Говорящий человек,
владевший языком членистоногим,
умевший говорить повсюду эхом,
не зная ни молчания, ни речи?

Иль проходило наважденье скрипок,
поющих без смычков под талым льдом,
сопровождавших костяную флейту,
чей голос доносился из крыла,
протянутого в воздух при полете?

Иль шепот оглушенный осязання?
Иль воздух, перепутавший улыбку
с гримасой отвращения и боли?

И кто б здесь ни был, пусть спешит в рассвет.
Но эхо без свободы и надежды,
как угол, запечатанный в оправу
на нем пересекающихся стен.

Пусть круче соли медленный подъем
груди при вдохе и зрачки белеют
сквозь негашеный сумрак – все плывет,
становится дыханье невесомым,
когда его выталкивает время,
свой голос неспособное узнать.

«Там, где снег, от беспамятства черный...»

Там, где снег, от беспаятства черны,
на лету начинае белеть,
Марьин корень на пасеке горной
мреет в бусах лиловых, как медь.

Поэма дождя

Еще остекленевшее дыханье, колючее, как угольный рисунок, еще не отрешенный от холста, тебе напомнит привкус хлорофилла, прозрачного в безлиственном лесу, где

мир двоит в присутствии дождя и бережную кровью отраженья, процеженного отсветами солнца, опутывает воздух и хранит.

Попробуй отказать ему в величье – в промозглой мордочке

мышинная догадка: он душу может видеть в перспективе, сжимать ее, чтоб теснота звала к движению. И это ль не попытка у времени отнять неотнимаемое?

Неукротимое нельзя представить хрупким, но хрящ минуты

тонок и бесследен – ее нельзя вдоль пальца провести. Ее лишь можно обрести как вечность, способную к земному воскресенью, назвать собой и выпустить из рук.

Тогда и приближается возможность немного задержать свое

дыханье, явившееся в образе дождя.

Рулоны дня – как легкая повязка на капле дождевой. Вся

эта

прелесть собой напоминает заточенье, но это только
видимая
связь.

Как будто сопряженные движения расторгнуты в
безмолвном
поединке: отбрасывают тени не предметы, а мысли,
извлеченные на свет.

Так снег умеет пить наискосок свободу взгляда. Не
передать
огнем и воздухом, не заучить его побег в уклончивую
тьму.

Так в час рассвета белая стена меж окон беззаботна и
прозрачна.

Нельзя лишь только правдою назвать свой грех пред
временем
и этим искупить вину пред ним.

Стол

Домашний зверь, которым шорох стал
и ход лесной, – вот этот стол уютный.
В своей глубине он дикий быт смешал
с возней корней, таинственной и мутной.
И иногда с поверхности его
под шум ветвей, замешанный на скрипе,
как скатерть рук, сползает торжество
медвежьих глаз, остановивших липы,
их мягкий мед, скользящий по стволам,
сквозь лапки пчел, сквозь леденящий запах.
И в этот миг живут по всем столам
немые лица на медвежьих лапах.

«Хотелось вынести из света...»

Хотелось вынести из света
ни с чем не смешанную тень
и ждать, чтоб жил на крыше где-то
неначинающийся день.

«Стоишь одна у входа в этот лес...»

Стоишь одна у входа в этот лес,
где каждый лист – потомок ожиданий,
и каждый шаг отчетлив, как последний.

Уже не вдох стоит перед тобой,
а ты на вдохе ищешь равновесье –
так дышат травы, облака и годы.

Лицо дождя, заплаканное в день,
когда он шел, теперь уж просветлело –
его глазами смотришь ты на ветви.

Тыходишь в куб, зеркальный изнутри,
где птичья ночь шуршит в его объеме
и прошлогодний снег щекочет губы.

Как смертный звук, пробившийся из тьмы,
еще незримо, но уже знакомо
слух отстраненный прячется в пылинке.

Не так ли сердце взвешивает стук?



проза

Пришел поэт и рассказал

Пришел поэт и рассказал: «В одном северном королевстве, где два моря встречаются на песчаной косе и справляют танец целующихся волн, одиноко возвышается церковь с корабликом под потолком. Она стоит на песке, под которым погребена более древняя церковь. Ее занесло штормами, приливами, и люди не стали ее откапывать. И так потому случилось, что сменилась какая-то вера или что-то сменилось в вере, но до сих пор из-под этих песков временами доносится звон».

Другой поэт рассказал, что когда-то в украинской степи жила-была барыня с единственной дочерью, и суждено было той влюбиться в местного мельника, и не отдала ее барыня замуж, а мельника прогнала со двора. И утопилась несчастная в старом пруду. Позабылись и барыня с дочкой, и пруд закопали, а на этом месте посадили сад. И вот по прошествии сроков случился такой урожай, что все до единого дерева обломилось, ветка за веткой под корень, и место с тех пор в запустении.

И третий: «В городке под Москвой построили новую церковь с пышными куполами и крестами. И чтобы птицы не

портили их великолепие, на кресты напаяли иголки, длинные, тонкие, острые. А птицы по старинке все равно садятся на них. И уж не одна из них поранилась».

И когда перед тобой кладут кресты на дороге – щепоть за щепотью, – будто солят туман или снег засевают, особенно те, кто давно ни во что не верит, не сомневайся: с тобой говорит твой враг, товарищ по несчастью.

Падает снег на темную воду, тает, как будто воду проходит насквозь, а навстречу ему – из глубины – тоже падает снег, восходит. Там, где им предстоит пересечься, начинается танец взаимоперехода. Танец огня в плоскости схода, взаимовоплощение. Ничто там не меняет масок, не передразнивает друг друга, и как будто ты присутствуешь на празднике воплощения дробящегося, ветвящегося абсолюта.

Вот в перспективах: медведица удаляется, уходит все дальше и дальше, и вот она – созвездие, такое же, как и те, что его окружают. И все звезды так: сначала предмет – потом звезда, абсолют. В начале пути вещи не равны друг другу, непохожи друг на друга; у каждой свое существование, своя данность. К концу пути они – из одной субстанции, да и внешне почти неразличимы, они – праздник подобия, а вместе – целое: небо, свод. Это – завершение пути, устремленного вверх. Но с этого мига и вниз, в начале, все начина-

ет светиться родством – и небо переворачивается. Обратная перспектива: не от точки идут два луча, а к точке, два и даже больше, причем начало их пути кажется недоразумением. Но это «куда-то» наступает. И вот медведица уже не может существовать без поднимающегося изнутри нее созвездия. Это подлинная, общая история для каждой вещи и для всех вещей вместе. И не спутать бы только небо каждого предмета с тем, которое видится над головой. Оно не только сверху, оно во внутренней приобщенности каждого к космосу.

Ты хватаешься за карандаш и линейку, пытаешься прочертить и свой путь согласно этим путям. А надо бы лишь следовать за ними и видеть, как они идут – неуклонно, в соответствии с волей, туда, на праздник взаимовоплощения.

«Жизнь – водоворот в потоке за камнем» (Шредингер?), только такой водоворот, который строит сам этот камень. Поток – существование материи вообще, движение (присутствие) однородное, изотропное, и вдруг этот камень. Откуда? Ясно, что, если будет брошен в поток камень, будет и водоворот. В неподвижности же нет потока. Стало быть, начало движения предполагает, что камень в поток будет брошен в виду лестницы жертв. Или же наоборот: жизнь-водоворот в потоке за камнем ищет и находит и поток, и камень. Единство – в начале. Начало не временное, а повсеместное

– непрерывное, длящееся всегда, всюду. Иначе: зачем водоворот, если для этого нужно все двинуть, вывести из покоя, втянуть в поток? Зачем камень, если достаточно потока самого по себе? Водоворот сам ищет камень и поток. Эта встреча неизбежна, она – Начало. Разлад встречи – блуждание «я» вокруг телесного пространства души. Скажи мне, кто хочет вырвать камень из этого потока...

Ночью – в лесу ли, в городе, где угодно – все равно: в лунную ли ночь, в пасмурный день – звуки ночные и звуки дневные разные. При полном солнечном затмении эффект такой же, как в полночь. Звук и солнечный свет связаны. Но каким образом?

У каждой местности – свое небо (и оно помнит свои облака), своя луна, своя Большая Медведица.

А если предположить, что жизнь человека – одна, то тем более любое умаление ее может выглядеть как насилие, по-

тому что человек – это не только его физическое присутствие здесь – наличие вообще – это еще и его время, которое, может быть, не собственность его, но и отнимать его у него никто не может – о Боге тут помолчим: Он-то и дает миру человека вместе с его временем.

На этом свете на всех не хватает места – а на том? Сколько угодно!

Вдруг обнаружить в своей руке трещотку прокаженного перед толпой – или посреди толпы сочувствия...

Край спора, граница противостояний – вовсе не игра ума, а взаимодействия континуумов, выплескивающих на поверхность всю мразь демагогии в целях неблагородных. Это как помешательство, стремящееся иметь пристойный, благоразумный вид, столь же нелепый, как и цель спора. Уж лучше совсем расшатать границу (линию) – до бесконечности...

Через слова, предметы, явления истории просвечивает язык. Праязык. И время от времени его слышит слух. Сначала наиболее чуткий. Потом язык становится доступней все большему количеству людей. Вот почему истина, понятная в древности немногим, делается всеобщей впоследствии. Слышится сразу и целиком. Или можно как бы по кусочкам собирать нечто и увидеть как целое (в новейшее время)... Где-то сквозь глубину всех вещей, объединяя их, как ветви одного дерева, просвечивает буквенница этого языка. Есть много способов прочесть его, но смысл его один и тот же во все времена.

Предмет – овеществленное, воплощенное время. А слово, обозначающее предмет? Назвать – значит овеществить, а не развоплотить. Оставить, чтобы находился. Был, существовал, жил. Стал тем, что противоположно небытию. Время овеществляется в предметах, но оно и развоплощает их. Язык, слово дает им жизнь вечную. Правда, есть и другое время: время, которое воплощается в языке. И это даже никакое не сверхвремя. Потому что есть время, которое вопло-

щается и в нем, то есть в том времени, которое воплощается в языке и которое является, в свою очередь, сверхвременем для того времени, которое воплощается в предметах. Но тут следует остановиться. Вот солнце – оно же предмет, оно – овеществленное время, у него есть имя в языке, а язык – как будто другое воплощенное время, более высшее, что ли, по отношению к тому, которое воплощено в солнце. Но ведь солнце старше своего имени на любом языке и, возможно, проживет дольше любого языка. Как же так? И что если в каждом языке, языке преходящем живет язык вечный?

...возникает искушение оставить полотно, растянутое на пяльцах, без вышивки, а холст на подрамнике без письма... Есть образ (стереотип) картины: вот холст, на нем должно быть что-то нарисовано. Это, как если есть сосуд, то он должен быть чем-то заполнен. Диктат формы, инерция условного долженствования. Поэтому и возникает иллюзия, что достаточно одного холста (полотна), чтобы дать представление о семантике... В голом холсте уже присутствует семантика, отсылающая к образу живописи с этакой большой буквы. Отсюда – возможность оппозиции, которую можно обыграть и иронически; но этот иронический «протест» против самого стереотипа неконструктивен: ибо форма, материя (звук, краска, слово) преодолеваются в искусстве, где нет места оп-

позиции. . . Ни пессимизма, ни оптимизма – а есть нечто превышающее как то, так и другое.



Внутри деревьев падает листва 1971

Взгляд

Был послан взгляд – и дерево застыло,
пчела внутри себя перелетела
через цветок, и, падая в себя,
вдруг хрустнул камень под ногой и смолк.
Там тишина нашла уединенье:
надрезана кора, но сок не каплет
и яблоко надкусанное цело.
Внутри деревьев падает листва
на дно глазное, в ощущение снега,
где день и ночь зима, зима, зима.
В сугробах взгляда крылья насекомых,
и в яблоке румяно-ледяном,
как семечки, чернеет Млечный Путь.
Вокруг него оскомины парит,
и вместе с муравьиным осязанием
она кольцо срывает со зрачка.
В воронке взгляда гибнет муравей,
в снегу сыпучем простирая лапки
к поверхности, которой больше нет.

Там нет меня. Над горизонтом слова
взойдут деревья и к нему примерзнут –
я никогда их не смогу догнать.

Там тишина нашла уединенье,
а здесь играет в прятки сам с собою
тот, кто вернуть свой взгляд уже не в силах,
кто дереву не дал остаться прахом,
Иуды кровь почувствовав в стопе.

Крещение

Душа идет на нет, и небо убывает,
и вот уже меж звезд зажата пятерня.
О, как стряхнуть бы их! Меня никто не знает.
Меня как будто нет. Никто не ждет меня.
Торопятся часы и падают со стуком.
Перевернуть бы дом – да не нащупать дна.
Меня как будто нет. Мой слух ушел за звуком,
но звук пропал в ночи, лишая время сна.
Задрал бы он его, как волка на охоте,
и в сердце бы вонзил кровавые персты.
Но звук сошел на нет. И вот на ровной ноте
он держится в тени, в провале пустоты.
Петляет листопад, втирается под кожу.
Такая тьма кругом, что век не разожмешь.
Нащупать бы себя. Я слухом ночь тревожу,
но нет, притихла ночь, не верит ни на грош.
И где-то на земле до моего рожденья,
до крика моего в мое дыханье вник
послушный листопад, уже мое спасенье.
Меня на свете нет. Он знает: будет крик.
Не плещется вода, как будто к разговорам
полузаснувших рыб прислушиваясь, и
то льется сквозь меня немеющим задором,
то пальцами грозит глухонемой крови.
Течет во мне река, как кровь глухонемая.

Свершается обряд – в ней крестят листопад,
и он летит на слух, еще не созная,
что слух сожжет его и не вернет назад.

Баллада

Я поймал больную птицу,
но боюсь ее лечить.
Что-то к смерти в ней стремится,
что-то рвет живую нить.
Опускает в сердце крылья,
между ребер шелестит
и порывами бессилья
неотступное двоит.
А глаза в холодной схиме,
и нельзя никак прочесть
там созвездьями иными
в буквы сложенную весть.
Не намеренно – случайно –
воздух клюва пригублю,
настороженную тайну
ненароком разделю.
... Вот по плачущей дороге
семерых ведут в распыл.
Чью беду и чьи тревоги
этот воздух сохранил?
Шестерых враги убили,
а седьмого сберегли.
Шестерым лежать в могиле,
одному не знать земли.
Вот он бродит над землею,

под собой не чужа ног,
мерой Бога именною
бесконечно одинок.
Снегопад бывает белым
и не может быть другим.
Только кто же мажет мелом
в сон свивающийся дым,
если в мире, в мире целом
только он и невредим?
Он идет, себя не пряча
в исчезающей дали,
потому что тех убили,
а его убить забыли
и случайно сберегли.
Сберегли его, не плача,
память, птица, пар земли.

«Во дворе играют в домино...»

Во дворе играют в домино,
молчаливы флейты папирос,
сквозь дымок качается окно
дома, обреченного на снос.

На балконе сушится белье,
наизнанку вывернутый быт,
разбинтованное бытие,
откровенное, как инвалид.

Старый стол простужено скрипит,
схваченный гвоздями домино,
слева сердце или дом дрожит,
флейтам в такт качается окно.

Контрапункт

Останься, боль, в иголке!
Останься, ветер, в челке
пугливого коня!
Останься, мир, снаружи,
стань лучше или хуже,
но не входи в меня!

Пусть я уйду в иголку,
но что мне в этом толку?
В ней заточенья нет.
Я стану ветром в челке
и там, внутри иголки,
как в низенькой светелке,
войду в погасший свет,
себя сведу на нет.

Но стоит уколиться
кому-нибудь, как вдруг
свет заново прольется,
и мир во мне очнется,
и шевельнется звук.

И вспрыгнут где-то кони,
спасаясь от погони
беды, пропавшей в стоне,

в лугах теряя след.

Нет лжи в таком обмане.
И топот, скрытый в ране,
копытами раздет.

Табун с судьбой в обнимку
несет на гривах дымку,
и на его пути
глядят стога из мрака,
как знаки зодиака.
Ты их прочти.

Но, преклонив колена
в предощущенье плена,
иголку в стоге сена
мне не найти.

Плач Иуды

Иуда плачет – быть беде!
Печать невинного греха
он снова ставит на воде,
и рыбы глохнут от стиха.
Иуда плачет – быть беде!
Он отражается в воде.
И волны, крыльями шурша,
и камни, жабрами дыша,
следят за ним.
Твердь порастает чешуей,
и, поглощаемый слезой,
твердеет дым.

Иуда плачет – быть беде!
Опережая скорбь Христа,
он тянется к своей звезде
и чувствует: она пуста.
В ней нет ни света, ни тепла –
одна промозглая зола.
Она – не кровь и не вода,
ей никому и никогда
не смыть греха.
И остается в голос свой
вводить, как шорох огневой,
упрек стиха.

«Дождя отвесная река...»

Дождя отвесная река
без берегов в пределах взгляда,
впадая в шелест листопада,
текла в изгибах ветерка.

Она текла издалека
и останавливалась где-то.
И, как в мелодии кларнета,
в объем вступали облака.

Я не видал подобных рек.
Все эти заводи, стремнины
мне говорили: без причины
в ней где-то тонет человек.

И лужи, полные водой,
тянулись вверх, когда казалось,
что никому не удавалось
склоняться, плача над собой.

«Мелкий дождь идет на нет...»

Мелкий дождь идет на нет,
окна смотрят сонно.
Вот и выключили свет
в красной ветке клена.
И внутри ее темно
и, наверно, сыро,
и глядит она в окно,
словно в полость мира.
И глядит она туда,
век не поднимая, –
в отблеск Страшного суда,
в отголосок рая.
В доме шумно и тепло,
жизнь течет простая.
Но трещит по швам стекло,
в ночь перерастая.
Это музыка в бреду
растеряла звуки.
Но кому нести беду,
простирая руки?
И кому искать ответ
и шептать при громе?
Вот и все. Погашен свет.
Стало тихо в доме.

«**Душа проснется, и тогда...**»

Душа проснется, и тогда
заплачет полая вода:
найдет сестрица братца,
а нам пора прощаться.

И вздрогнет на воде кольцо,
с козлиным профилем лицо
мелькнет и улыбнется.
Сестрица отзовется.

Вот в шепот сыплется листва,
она мертва, она права.
Что ей теперь приснится?
И нет нигде копытца.

Один стакан, и тот разбит,
со дна Алenuшка глядит,
и ветер шепот шевелит.
мы молча в шепот сходим
и там себя находим.

Здесь нас поддерживает свет,
и на двоих разлуки нет.
Найдет сестрица братца,
а нам пора прощаться.

«Такую ночь не выбирают –...»

Такую ночь не выбирают –
Бог-сирота в нее вступает,
и реки жмутся к берегам.
И не осталось в мире света,
и небо меньше силуэта
дождя, прилипшего к ногам.

И этот угол отсыревший,
и шум листвы полуистлевшей
не в темноте, а в нас живут.
Мы только помним, мы не видим,
мы и святого не обидим,
нас только тени здесь поймут.

В нас только прошлое осталось,
ты не со мною целовалась.
Тебе страшней – и ты легка.
Твои слова тебя жалеют.
И не во тьме, во мне белеют
твое лицо, твоя рука.

Мы умираем понемногу,
мы вышли не на ту дорогу,
не тех от мира ждем вестей.
Сквозь эту ночь в порывах плача

мы, больше ничего не знача,
сойдем в костер своих костей.

«По ходу солнца в том краю...»

По ходу солнца в том краю,
где солнце гаснет в вышине,
там тень от клена на стене
раздвинет комнату мою.

«Замедленное яблоко не спит...»

Замедленное яблоко не спит,
украденное облако не тает –
в другие времена оно летит,
а в этих временах оно летает.

Невнятное, как вольный парадиз,
оно уже о том напоминае,
что создано когда-то сверху вниз
измученное славой мирозданье.

И воздух перекошенным стоит,
когда его отсутствием питает
не облако, которое летит,
а облако, которое летает.

«Так ночь пришла, сближая все вокруг...»

Так ночь пришла, сближая все вокруг,
и, в собственные тени погружаясь,
ушли дома на дно прикосновений.

И бой часов был переплавлен в тень,
дающую немое представленье
о медленном смещенье расстояний.

Казалось, никого не обходило
присутствие погасшего огня.

И был лишь тополь где-то в стороне,
он был один запружен очертаньем,

он поднимал над головой у всех
порывистого шелеста причуду,
дотягиваясь пальцами до слуха,
как слог огня, пропавшего в огне.

Его превосходила глубина,
он был внутри нее, как в оболочке,
он выводил листву из берегов
и проносил на острие движенья

куда-то вверх, куда не донестись
ни страху, ни рассудку, ни покою.
Где ночь переворачивала небо,
одной звездой его обозначая.



проза

Мнимые пространства

Сверхгород – это сверхниша, а ниша – обманчивое пространство, обиталище, где можно как будто укрыться. Ниши чаще всего пусты, город заполнен ими, это толпы дверей, никуда не ведущих. Но есть города, где в их мнимых пространствах можно увидеть того, кого называют небесной дверью, снисшедшей на землю. Ниша – тайник, стена и не стена, пауза в стене, призрачное пространство. Не надо искать где-нибудь в мироздании место, где пространство и время совмещены в одно – войди в нишу и ты почувствуешь, что это место здесь.

Войди – и ты отождествишься с ней: станешь кирпичом в стене, частью стены.

Ниша – сакральный символ: там мог бы стоять царь, а это узел и замок мира, отделяющий порядок от хаоса. Но ниши призрачны. Любой ключ, сделанный наугад, мог бы к ним подойти, но нет у них замков. Ниша, забранная решеткой, – у-у, страх! – тюрьма. Свет, попадая туда, кружится, как в водовороте. Поставь кого-нибудь в нишу, и от него можно спрятаться, потому что тот видит только перед собой, как проектор или как лошадь в шорах: шаг в сторону – и ты незрим

для него.

Пространство ниши не ведает о размерах: в нее можно поместить все что угодно: от Кремля до иголки, потому что там все становится декоративным, игрушечным. Если человек открыт, как Адам, любопытен, а мир для него загадочен, деятелен и скульптурен, то ниша – это скульптура наоборот, наизнанку, и нет такой дороги, по которой она бы двинулась к какой-нибудь цели. Ниша – тупик, и в душе каждого их множество. Возвестивший о том, что все люди – братья, рушил стену с нишами, и в этом ответ на вопрос: самоубийцы ли пророки? Выйти из ниши страшно, но сделай шаг – и ты увидишь, что этих ниш тысячи. Вот негерой, занимающий нишу героя, вот нецарь, занимающий нишу царя, вот непророк, занимающий нишу пророка. Самозванец – тот же самоубийца, потому что самовольно занимает нишу царя, или героя, или пророка. Он идет на подлог: начинает со лжи, которую представляет как правду, потом сам верит в это как в правду. Самоубийца уравнивает себя с началом жизни. Занимает место, нишу этого начала. Дальше нет ничего, никакого начала: жизнь равноправна с ним и равна небытию.

Но кто добровольно может покинуть свою нору, выйти на склон горы, изрытой гроздьями нор? Ведь если ниша твоя позади – пред тобою стена изначальная, нерушимая, та, что не ограждает и удаляет, а все делает близким. Перед стеной ты свободен и не ограничен нишей своего существования. И ты не вмурован в нее, как в последнюю инстанцию, и нет в

ней ничего последнего.

Ниша противоположна столпу, а столпничество абсолютная исповедальность. От пещеры одна ветвь привела к дому, а другая к нише, но обратной дороги нет, и если возможна она, то приведет к печи, потому что пещера (печь, печора) – одного корня с печалью. А столп – это радость и утро, а утро – это утроба, откуда рождается свет, день и солнце.

Три измерения времени и три – пространства. Триединство – форма обозначения человеком мира и себя в мире. Это еще вопрос: просто ли это обозначение, то есть называние, то есть принятие условностей, или это что-то большее. Допустим, собаке наплевать на все эти измерения и сколько их там – она просто существует и все тут, а сколько их на самом деле – в человеческом разумении может не быть той разрешающей способности, как у киноплёнки светочувствительности. Может, человеку достаточно и того, что он способен различить, хотя... О. Конт ведь ставил крест на возможности химического анализа звезд, а через год был изобретен спектроскоп. Изменение разрешающей способности – это сила, способная привести к изменению всей картины мира. А это может привести к потере стационарности мира. Мироздание, по Аристотелю, просуществовало две тысячи лет, по Ньютону, – двести лет, по Эйнштейну, -устаревает на гла-

зах. Качественное состояние парадигмы стало движущимся. Всякий, кто хочет видеть себя со стороны, ищет прежде всего зеркало. Вот это стремление – отразиться, найти зеркало – и есть движущее стремление парадигмы. Движение ее в прошлом было малозаметным и не столь заметным, как теперь. То есть если что и остается «стационарным», так это стремление понять себя и мир. И что такое мир в смысле сторонности, отторгнутости, абстрагированности от человека? Если сознание способно абстрагироваться от своего «я», и это «я» может находиться в любой точке пространства тела, то почему бы этому «я» не обнаружиться не только тогда, когда пространство тела испытывается болью или чем-то противоположным, но и когда этому испытанию подвергается пространство, как будто с телом не связанное? Так оно и происходит в том случае, когда «я» способно отождествиться с другим человеком (материнство, любовь, сострадание) или территорией (Родина, край, земля). Это ведь тоже картина мира, и достаточно стационарная. Но грозит ли этой картине движение парадигмы, то есть теряют ли смысл те ценности, которые выношены вековым опытом? Нет, ведь все эти ценности вызваны желанием отразиться, понять себя, осознать свою форму. И, стало быть, такая стационарность не вызывает сомнений. Она лишь подвергается испытанию со стороны изменчивости парадигм. Что-то, конечно, меняется и в этой картине в той степени, насколько она зависима от этической установки. Но неизменно одно: зависи-

мость меры отождествления «я» с чем-либо, что не входит в зону твоих биологических, социальных, духовных и прочих интересов, с этой парадигмой, которую извечно называли нравственным законом.

Кьеркегор: «Если этическое есть высшее, то Авраам погиб». Средоточие «я» в Боге таково, что «я» растворяется, лишается личностного начала, самосознание заменяется другим, «парадигматическим» сознанием, близким, может быть, к коллективной норме, хотя коллективная норма это не только не нравственный закон, но даже и не религиозное сознание. При этом твое «я» принимает эту норму путем внушения, воспитания (внушаемость возможна до такой степени, что «я» и не мыслит другого самосознания) за свою собственную.

Итак, три измерения времени и три же – пространства. Формы обозначения человека в мире и себя в мире, то есть субъекта, объекта и фона. Фон – это «тап», «всемство», «оп», то есть все безличное.

Настоящее время потому и кажется фикцией, что оно переживается, а не осознается, как и само «я» в момент действия, иначе – феномен раздвоения личности, вообще расогласованности. Прошлое и будущее, даже твои собственные, – это уже объекты, нечто осознаваемое, и если переживаемое, то абстрактно, эстетически, и «я» переживаемое все-таки туда не внедряется.

То же и в пространственных отношениях: «я» – это точка,

не имеющая измерения. Отход «я» вовне (самоотстранение), объективирование порождает движение – линию, движение линии – плоскость, движение плоскости – объем. Это уже объекты. То же и в обратном порядке: но всегда пространственное «развоплощение» натолкнется на неделимое «я», точку, способную отождествиться с объектом любого пространственного (временного) порядка. Потому что в этом-то и различие «я» осознаваемого от «я» переживаемого. Одно не может перейти в другое (вытеснить, заменить, заместить, как не может символ заменить образ). Весь остальной мир – мера фона, третья мера.

Если верить утвердившемуся мнению, что человек изначально (как вообще человек, так и каждый индивид) не выделяет себя из окружающего его мира и что развитие в нем способности различать глубину пространства (и мерность его) происходит постепенно, то три измерения пространства и три измерения времени объяснимы как ступени развития самосознания.

Лицо твое дрогнет, как будто в воде отраженное.



Человек нужен Богу, как собственное отражение. Просто также, как нам бывает нужна отражающая поверхность зеркала или просто воды. Вопрос: для чего это Ему нужно? Для диалога? Ни зеркало, ни поверхность воды отражения на себе не видят, как и не видят того, кто стоит перед отражением. Но человек – это другое зеркало, зеркало, которое видит отражение и образ того, что в нем отражается. Хотя бы смутно. Если твое отражение – объект, то два объекта – ты и твое отражение – разделены во времени. Там, в зеркале, – ты уже в прошлом. Фотографическая наводка резкости на раму зеркала или на изображение в зеркале соотносится как два к одному. То есть если до рамы два метра, то до изображения в зеркале – четыре метра. Так что абсолютное, отражающееся в нас, вечное, – начинает видеть себя во времени. Вечность стремится заболеть временем (по Бердяеву). Но зеркало напротив зеркала порождает в своей глубине будущее. В итоге, даже сверхслабое информационное взаимодействие является главным во Вселенной. Ведь гладь зеркала не только отражает, но и поглощает. В том числе и энергию. Невесть какая энергия вырывается из разбитого зеркала. Говорят, когда погибал «Новороссийск», у одного из моряков дома упало зеркало, унесенное им с корабля за 20 лет до катастрофы. И здесь проясняется смысл обычной в старину поговорки:

«Глядеть как в воду», то есть предвидеть, предугадывать что-то помимо логики с ее казуистикой. Может, по этой причине Грозному делали зеркала слепцы. А для нынешнего физика и обыкновенное трюмо – аналогия козыревских зеркал. Люди ученые, надеются, что когда-нибудь будет возможно увидеть то, что повседневно запечатлевается, как фотопленкой, на стенах: надо только научиться проявлять изображенное и считывать.

Парадокс тяготения состоит в том, что его центр расположен не у нас под ногами, а над нами; и не в виде наиважнейшей, наицентральной точки, а в виде сверхпространства. Может быть, для современного человека неважно, в сущности, в виде чего существует эта самая гравитация, главное – это на теперешний момент – чуть ли не единственная сила, представляющаяся ему достоверной, доказанной, непреложной, а потому и реальной. Он ее учитывает, с ней смиряется, ей подчиняется беспрекословно. Богу-то он прекословит. А что гравитация – одна из не самых важных Его ипостасей, что ж из того?

Со-весть, весть, совместная с кем? С кем в первостепенную очередь, если не с Богом? Твоего бессмертного с твоим абсолютным собеседником. Твоей души с ее Создателем.

«Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях» (Лк, 12, 2-3). Так что свет на крыше может стать адом. Отсвет адского считывается тем, кому ведома твоя совесть. Проступки, вины, грехи обретают образы, выходя из стен и предъявляя их проекцию в вечность. Тот, кому это представилось как реальность, удостоен искупления, прижизненного ада, который хорошо бы не утащить в свою могилу. «Ибо жертвы ты не желаешь, – я дал бы ее; всесожжению не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже» (50 Пс). Поэтому из зеркальной глубины следует неочевидное отражение, неочевидное ни очевидцу, ни самому зеркалу. А посему, как сказал старец Иолай: «Не суй мене, Господи, куды мене не просят». Потому что каждый

носит свой куб в себе. Да и Ной, говорят, был научен Богом построить ковчег согласно мере человека. Если человек – сумма мира, прямой конспект его, то нельзя ведь сказать про куб с ребром в один сантиметр, что точек в нем больше, чем в кубе в один метр: и там, и тут их столько же.



Или смерти коснуться и глаз не закрыть 1974

Поезд

1

И снова на бегу меня пейзаж встречает,
вдоль поезда летит, воронками крутятся,
и валится в окно, и потолок качает,
и веером скользит в пороховую грязь.

И крутятся, как снег, ночные перелески,
от вальса и стогов кружится голова.
И танец колдовства, и ветра переплески
рисует на лугах безмолвная трава.

Прозрачный снегопад весь этот бег венчает.
Но то не снег летит, а разжимает горсть,
но то старик Харон монеты возвращает,
но то висит, как снег, летейской стужи гроздь.

И в грохоте колес, и в пересохшей Лете,
и в говоре морей – тревожный хор сирен.
И вещей Одиссей, один на целом свете,
переживает бег, задуманный как плен.

И две его руки сквозь снегопад воздеты,
сквозь бесконечный бег, когда предела нет
шуршащим берегам ненаселенной Леты.
А поезд, как снежок, разбрасывает свет.

2

Полустанок. Огни. Это поезд притих.
Это колокол ночи, отринувший взмах,
ощущает созвездья на склонах своих.
Это так же, как детство в далеких горах.

Так глаза в темноту открывает зверек
и, не видя себя, превращается в крик;
и смиряется тьма, и ложится у ног –
это снег на лету застывает на миг.

Но откуда-то вдруг вылетает состав –
это встречный, он крутит меня на бегу
с полустанком, с огнями, от звука отстав,

надвигаясь стогами на сонном лугу.

Это снова Харон разжимает кулак.
Это линия жизни с ладони в упор
снегопадом слетает, впиваясь во мрак,
и рисует собой очертания гор.

И вершины скользят, как изгибы ужа,
и срываются в белую кровь облаков.
И трава замирает в тумане, дрожа,
укрывая себя от своих двойников.

Это горы во мне продолжают расти,
это снег надвигается с разных сторон.
Если линию жизни не спрятать в горсти,
то к кому не вернется с монетой Харон?

Кто получит монету и сможет забыть,
как Харона ладонь уменьшалась на треть,
или смерти коснуться и глаз не закрыть,
или встать в стороне – на себя посмотреть?

3

И снова летят поезда.
Уже на востоке светлеет,

уже под мостами вода
от грохота их тяжелеет.

Как осенью, как в холода,
она навсегда безголоса.
Как в небо, глядится сюда,
а в небе грохочут колеса.

Найдется ли там уголок,
в ее опрокинутом доме,
тому, кто забыться не смог
в бессонном летеиском проеме?

А толпы вагонов под ней
насквозь проросли облаками,
и стало как будто темней
в ее перевернутом храме.

Туда простирает окно
какой-нибудь путник невольный,
и силится выпрямить дно
расплавленный лед колокольный.

Уже тяжелеет вода,
и воздух проемами рвется.
Уже никогда, никогда
оттуда никто не вернется.

И поезд вдоль ночи вагонную осень ведет
и мерно шумит на родном языке океана.
Предчувствием снега блуждает огней хоровод,
как бред шестеренок внутри механизма тумана.

И, уши закрыв, наклонившись сидит Одиссей,
читая кручину, один в полутемном вагоне.
И пенье сирен надвигается тяжестью всей,
и меркнет, и реет, и слух обжигает ладони.

И ту же кручину читая с другого конца,
за окнами ветер проносит обрывки пейзажа,
и вьется, и рвется, и чертит изгибы лица,
и кружится холод, и небо чернеет, как сажа.

И гнется под ветром холодный рассудок часов,
зубцами срываясь и гранями в нем цепenea.
Все ближе и ближе неведомый хор голосов.
Все дальше и дальше относит лицо Одиссея.

О, дом Одиссея, в пути обретающий все,
ты так одинок, что уже ничего не теряешь.
Дорогу назад не запомнит твое колесо,
а ты снегопад часовому рассудку вверяешь.

Толпы света бредут, создавая дыханьем округу,
узнавая пейзаж как создание своих мятежей,
обтекая его, голоса подавая друг другу,
превращаясь в скопления мечущих мрак миражей.

Так в обратный порыв увлекается бег ледохода,
натяжением силы вживаясь в свои берега.
Обретая себя, неподвижностью дышит свобода –
И летят берега, и раздет ледоход донага.

Каждый выдох таит черновик заверченного мира.
У меня в голове недописанный тлеет рассвет.
Я теряюсь в толпе. Многолюдная драма Шекспира
поглощает меня, и лицо мое сходит на нет.

Я теряюсь в толпе. Толпы света, как волны, смывают
и уносят меня, как стихи на прибрежном песке.
Там, где зреет строфа, там, где шепот сирен убывает,
там проносится поезд по долгой и влажной строке.

Колесо и пейзаж на незримой оси снегопада
с одинаковой страстью друг друга пытаются в пути.
Начинается вдох. Открывается занавес ада.

Крепко спит Одиссей, и снежинка трепещет в горсти.

Гроза

Храпя, и радуясь, и воздух вороша,
душа коня, как искра, пролетела,
как будто в поисках утраченного тела,
бросаясь молнией на выступ шалаша.
Была гроза. И, сидя в шалаше,
мы видели: светясь и лиловея,
катился луг за шиворот по шее,
как конский глаз разъятый, и в душе
мы всех святых благодарили – три,
три раза столб огня охватывал одежду,
отринув в пустоту спасенье и надежду,
как выстрел гибельный, чернея изнутри.
Был воздух кровью и разбоем напоен,
душа коня лилась и моросила,
какая-то неведомая сила
тащила нас в отечество ворон.
Кто вынул меч? Кто выстрел распрямил?
Чья это битва? Кто ее расправил?
Для этой бойни нет, наверно, правил –
мы в проигрыше все! Из наших жил
натянута струна, она гудит
и мечется, как нитка болевая,
и ржет, и топчется, и, полночь раздвигая,
ослепшей молнией горит.
Гроза становится все яростней и злей,

в соломе роются прозрачные копыта,
и грива черная дождя насквозь прошита
палящим запахом стеклянных тополей.
Струится кривизна граненого стекла,
ребристое стекло хмелеющего шара –
вот крона тополя. Над нами чья-то кара,
пожара отблески на сумерках чела.
Глядело то чело, уставясь на меня,
и небо прошлого в его глазах дышало,
и форма каждого зрачка напоминала
крававый силуэт убитого коня.
Его убили здесь когда-то. На лугу,
на мартовском снегу, разбрасывая ноги,
упал он в сумерках, в смятенье и тревоге,
на радость человеку и врагу.
Не надо домыслов, подробностей. Рассказ
предельно краток: здесь коня убили.
И можно справиться, пожалуй, без усилий
со всем, что здесь преследовало нас.
Нам не вернуть языческих времен,
спят идолы, измазанные кровью.
И если бродят среди нас они с любовью,
то это идолы отечества ворон.

Концерт

И музыка поражена.
И в пряди струнные рояля
уже вплетается она.
И, воздух срезанный печалю,
прозрачной кажется стена.

Еще чуть-чуть... Наоборот,
сначала будь стерней колючей,
под снегом желтой, и вот-вот
тот шелест чуткий и дремучий
со стеблем вместе прорастет.

Наполни шорохами звук,
верни его в зерно немое –
пускай он выпадет из рук.
И прорастет, усилясь вдвое,
в молчанье брошенный испуг.

А после стены прорастут
своей прозрачностью, и лица
из тьмы появятся. И тут
никто не сможет поручиться,
что стебли нас не обоймут.

Осень

Падая, тень дерева увлекает за собой листья.

Портрет

Ты можешь быть русой и вечной,
когда перед зеркалом вдруг
ты вскрикнешь от боли сердечной
и выронишь гребень из рук.

Так в сумерки смотрят на ветви,
в неясное их колдовство,
чтоб кожей почувствовать ветер,
прохладную кожу его.

Так голые смотрят деревья
на листья, упавшие в пруд.
Туда их, наверно, поверья
листвы отшумевшей зовут.

И гребень, и зеркало рядом,
и рядом деревья и пруд,
и, что-то скрывая за взглядом,
глаза твои тайной живут.

Ты падаешь в зеркало, в чистый,
в его неразгаданный лоск.
На дне его ил серебристый,
как лед размягченный, как воск.

Искрящийся ветер, перешитый,
навек перестроенный в храм.
И вечный покой Афродиты
незримо присутствует там.

Улыбка ее и смущенье
твое озаряют лицо,
и светится там, в отдаленье,
с дрожащего пальца кольцо.

Ты вспомнишь: ты чья-то невеста,
чужая в столь зыбком краю.
И красное марево жеста
окутает руку твою.

«Соединенье этих рук равно сближению деревьев...»

Соединенье этих рук равно сближению деревьев,
когда их тени не скрывают, как друг от друга далеки,
и их листва, и их смятенье, рожденное в годичных
кольцах,
запечатленное в прожилках и на извилинах коры.
И чем теснее наши руки, а тень деревьев отчужденней,
тем непонятнее всего,
какой огонь прошел меж ними, до наших рук не
дотянувшись.

«Увы, уходят со стекла морозные пейзажи...»

Увы, уходят со стекла морозные пейзажи,
сгорают начисто, дотла, без копоти и сажи,
и там, где ласточка жила, там нет травинки даже.

Ушли холодные леса без запаха и пота,
как будто лишь на полчаса, как будто зная что-то,
и в их пропавших небесах нет места для полета.

Там, за лесами, есть гора, а под горой поселок,
туда, конечно, не дойти, хоть путь туда недалог,
а если даже и дойдешь, то из его колодца
дохнет молчаньем, и пустым твое ведро вернется.

И только небушко над ним, своей судьбе покорно,
висит, как нота на листке, как черная валторна,
и детским голосом моим меня зовет упорно.

И вот пылает, как прожог на полотне селенья,
и дышит входами, как дверь в страну преображенья,
куда в надежде и тоске с неистребимой жаждой
приходят все, кто одинок, приходят все однажды.

Когда мне мало уголка автобусной стоянки,

когда нет дела до того, что скажут мне цыганки,
когда гнетет меня, как стыд, в чужом пиру похмелье,
хочу, чтоб ты была одна в печали и без цели.

Тогда мы встретимся с тобой под небом той валторны,
и нас колодец напоит своей водой повторной
и с ледяных ветвей вспорхнет отмеченная птица,
попросит песенкой своей у нас воды напиться.

И время тихо поплывет обратной стороною,
ломая море на куски, дохнет стекло волною,
и нет уверенности в том, что нет тебя со мною.

«Мороз в конце зимы трясет сухой гербарий...»

Мороз в конце зимы трясёт сухой гербарий
и гонит по стеклу безмолвный шум травы,
и млечные стволы хрипят в его пожаре,
на прорези пустот накладывая швы.
Мороз в конце зимы берет немую спицу
и чертит на стекле окошка моего:
то выведет перо, но не покажет птицу,
то нарисует мех и больше ничего.

Что делать нам в стране, лишенной суесловья?
По несколько веков там длится взмах ветвей.
Мы смотрим сквозь себя, дыша его любовью,
и кормим с рук своих его немых зверей.
Мы входим в этот мир, не прогибая воду,
горящие огни, как стебли, разводя.
Там звезды, как ручьи, текут по небосводу
и тянется сквозь лед голодный гул дождя.

Пока слова и смех в беспечном разговоре –
лишь повод для него, пока мы учим снег
падению с облаков, пока в древесном хоре,
как лед, звенят шмели, пока вся жизнь навек
вдруг входит в этот миг неведомой тоскою,

и некуда идти, – что делать нам в плену
морозной тишины и в том глухом покое
безветренных лесов, клонящихся ко сну?

«Любовь, как мышь летучая, скользит...»

Любовь, как мышь летучая, скользит
в крошечной тьме среди тончайших струн,
связующих возлюбленных собою.

Здесь снегопада чуткий инструмент,
и черно-белых клавишей его
приятно вдруг увидеть мельтешенье.

Внутри рояля мы с тобой живем,
из клавишей и снега строим дом,
летучей мыши крылья нас укроют.
И, слава Богу, нет еще окна –
пусть светятся миры и времена,
не знать бы их, они того не стоят.

Приятно исцелять и целовать,
быть целым и другого не желать,
но вспыхнет свет – и струны в звук вступают.
Задело их мышинное крыло,
теченье снегопада понесло,
в наш домик залетела окон стая.

Но хороша ошибками любовь.

От крыльев отслоились плоть и кровь,
теперь они лишь сны обозначают.
Любовь, как мышь летучая, снует,
к концу узор таинственный идет –
то нотные значки для снегопада.

И черно-белых клавишей полет
пока один вполголоса поет
без музыки, которой нам не надо.

«Это всего лишь щепоть пустоты...»

Это всего лишь щепоть пустоты,
это всего лишь чакона без скрипки –
ты меня встретишь подобьем улыбки,
словно стесняясь своей красоты.
Это из сказок, из тени степной
ветер приносит молчанье цикады,
ветер ночной, примиряющий взгляды
и наполняющий нас тишиной.
Я виноват или ты не права,
или вина без вины виновата –
стынет в ночи за грядую Арбата
под мостовую сухая трава.
За руки, медленно, как по воде,
словно во тьму, осторожно ступая, –

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.